1993-й: БИТВА ОБРАЗОВ

25 лет спустя: «Чёрный октябрь» 1993-го в зеркале русской литературы и искусства

Александр ПРОХАНОВ

Из романа «Красно-коричневый» (1999)

ОН УСЛЫШАЛ новый далёкий звук, низкие, едва различимые басы. Звук не имел направления, был всеобъемлющ, накатывал свои бархатные рокоты из-под земли, посылал их из неба, выдавливал из мерцающей солнечной реки. Руки Хлопьянова, сжимавшие автомат, улавливали вибрацию звука. Ноги, упиравшиеся в мраморный пол, чувствовали глубинные рокоты.

Он увидел, как на мост, с пустого проспекта, вползают танки. Сочная синяя гарь, и из этой туманной мглы появляется головная машина. Длинное орудие. Приплюснутая, как хлебная горбушка, башня. Пластины фальшборта. Солнечный всплеск стёртых об асфальт гусениц. За первым танком вышли ещё три машины. Медленной колонной взгромоздились на вершину моста. Заёрзали, словно тёрлись боками, качали пушками, водили ими в разные стороны и наконец успокоились, замерли. Наставили орудия все в одну сторону, на Дворец, на стеклянный подъезд, на Хлопьянова, сидящего перед хрупкой прозрачной преградой на золочёном кресле. Глазами, лбом, дышащей грудью и горячим пахом он чувствовал эти орудия. Их чёрные жерла, ледяную глубину, где в зеркальном канале, ввинчиваясь, продираясь к дулу, промчится снаряд, влетит под своды холла, превращая мрамор, хрустали, драгоценную инкрустацию стен в расплавленный взрыв.

Ещё три танка, пятнистых, как земноводные твари, выкатили на набережную у гостиницы. Встали напротив Дома под золотистыми деревьями. Было видно, как от выхлопов и рёва моторов с крайней липы посыпалась позолота.

Хлопьянов смотрел на танки оцепенев, не в силах встать и спрятаться в разветвлённой сети коридоров, в глубине здания, в подвалах, под бетонными непробиваемыми перекрытиями, спасаясь от моментальной взорвавшейся вспышки. Минуту назад он ожидал бой, рукопашную, готовый к броску, встрече лицом к лицу, когда враг, видимый, осязаемый, с глазами, с открытым ртом, потным сморщенным лбом, целится в тебя, и ты чувствуешь запах его прелых одежд, потной изношенной обуви. Опережая его на секунду, уклоняясь от пылающего облачка его автомата, протыкаешь насквозь его кости, сочно ёкнувшую селезенку, выпуская остатки очереди мимо, в туманный воздух.

Он рассчитывал на бой, готовился к последней смертельной схватке на рубеже обороны, где вплотную сойдётся с врагом, и враг, перед тем, как его уничтожить, познает его бесщадную силу, ловкость и ненависть, будет сам многократно убит.

Но танки на мосту и на набережной, отделённые от Хлопьянова выпуклой линзой воздуха, были отвратительной насмешкой, с которой враждебный мир задумал его уничтожить. Его убьют тупо, вслепую, не дав шевельнуться ни единому мускулу, превратят в пар, в клубок гари, в горсть безымянных молекул.

Поводя глазами, он видел, что остальные защитники испытывают то же самое. Окаменели на позициях, смотрят на танки.

На мосту, ещё недавно пустом, где тремя буграми выделялись танки, вдруг замелькало, запестрело. Множество торопливо бегущих людей показалось там. Окружили танки. Солдаты с щитами кинулись их разгонять, оттеснять. У Хлопьянова радостно дрогнуло сердце — свои, пришли выручать. Где-то с ними Трибун с мегафоном, молодые мужики с арматурой. Облепят, как пчёлы, танки. Закупорят орудия ватниками, завесят триплексы красными флагами.

Но набежавшая толпа не сопротивлялась солдатам, отступала. Послушно занимала место у входа на мост. И в этой остановленной отступившей толпе Хлопьянов разглядел трёхцветные президентские флаги, и ни одного кумача, ни одного имперского стяга. Толпа состояла из врагов. Серые капельки лиц, воздетые кулаки, пёстрые пятна одежд — всё принадлежало врагам, которые пришли на мост поглазеть на его, Хлопьянова, казнь. Золочёное кресло, в которое его усадили, было плахой. Пушки, наведённые в лоб, оптические прицелы, захватившие его в перекрестья, длинные медные гильзы с чёрными остриями снарядов были орудием казни. Невидимые под бронёй танкисты были палачами. Возбуждённая, ожидавшая выстрелов толпа торопила расправу, хотела увидеть муку Хлопьянова, его предсмертный ужас.

Он смотрел на толпу, и ему было тоскливо.

Где народ? Где несметные толпы, которые недавно чёрным варом заливали московские площади? Огненные знамена, хоругви? Где праведные гневные клики, рёв мегафонов, песни войны, революции? Куда исчезли отважные свободолюбивые люди? Засели по домам, по тесным утлым квартирам, по замызганным кухням, где жёны ставят перед ними тарелку супа, кладут ржаной ломоть, и те, опустив глаза, хлебают, аккуратно подставляя под ложку ладонь, в то время как он, Хлопьянов, сидит, прикованный к золочёному креслу и наводчик на полградуса поднимает орудие, чтобы первым же выстрелом вырвать из Хлопьянова сердце?

Он знал, что и остальные защитники чувствуют то же самое. Приднестровец за соседней колонной, Морпех, приваливщийся к железному сейфу, Красный генерал, нахохлившийся, как ястреб на стожке сена, — все они думают: где же народ, за который они станут сейчас погибать? Почему к месту казни слетелись одни враги? Ликуют, глумятся, торопят палачей!

Хлопьянов не мог шевельнуться, словно его и впрямь приковали. Из-под локтя выступал лакированный, с позолотой поручень. Затылок упирался в удобную выгнутую спинку. И не было сил подняться, шевельнуть окаменелыми мускулами. И только душа бессловесно, без надежды на спасение и чудо, молила: "Господи!.. Защити!.."

Сверху по лестничному маршу застучали башмаки. Молодой радостный голос, захлёбываясь, закричал:

— Воздух!.. "Вертушки"!.. Руцкой по рации вызывал!.. Подмога, мужики!..

На этот молодой счастливый крик все обернулись. Хлопьянов почувствовал, как в его сердце упала горячая капля света. Его молитва была услышана. Чудо состоялось. Чудо в центре Москвы. Чудо о вертолётах. Чудо о его, Хлопьянова, спасении.

Он оторвался от кресла, кинулся к окнам, не боясь выстрелов снайпера, удара танковой пушки. Прижался лицом к толстому сияющему стеклу. Поднял глаза ввысь, продолжая молиться, создавая из синей пустоты тёмные, удлинённые тела вертолетов. Созданные его молитвой, они возникли из-за выступа карниза, выплыли в пустое яркое небо. Два штурмовых вертолёта, длинные, как щуки, в прозрачном оперении винтов, с горбатой кабиной, с растопыренными плавниками подвесок, где было плотно и тесно от ракет и реактивных снарядов.

Вертолёты медленно, словно щупая воздух, вышли на открытое пространство. Сыпали сверху шелестящий стрекот. Казалось, этот металлический стрекот порождает на реке сверкание и блуждание солнца. Вертолёты медленно описывали дугу, летели к гостинице "Украина". Поворачивались носами, курсовыми пушками, остриями ракет и снарядов к мосту, к застывшим танкам. Сейчас распушат винты, разгонятся, разлетятся в небе по невидимой скользкой кривой, впиваясь прицелами в мерзкие, похожие на пятнистых лягушек танки. Из-под днища выпорхнет чёрно-красный огонь с заострённой копотью. На конце отточенных струй на мосту вспыхнут танки. Покатятся, перевёртываясь, проламывая ограждение, тяжко сваливаясь в реку. А им вслед всё будут лететь малиновые взрывы. И там, где только что в небе парили лёгкие винты, лишь пепельный след, сносимый ветром.

Вертолёты завершили свой круг и медленно, неохотно покидали небо над мостом. Удалялись вдоль реки. Пропадали в дымке, в прозрачном сверкании, превращаясь в точки, в ничто.

Обманутый, оставленный всеми на земле и на небе, Хлопьянов вернулся на место. Тяжело уселся в своё золочёное кресло, сжимая автомат. И все, кто оборонял парадный подъезд, тяжело и угрюмо занимали позиции за опрокинутыми сейфами, за колоннами, за выступами мраморных стен.

Прошуршало, прохрустело стекло. Словно в зеркально-прозрачной поверхности распушилось несколько одуванчиков. Серый комочек трещин с круглыми отверстиями, из которых, как пыльца или иней, прянули облачка стеклянного сора. Пули влетели в холл, вонзились в потолок, застряли в лепной штукатурке.

Ещё одна очередь оставила на стекле дымчатый росчерк, словно по окну пробежало невидимое существо, оставило свои отпечатки. Пули просвистели у колонны, одна чмокнула в мрамор. Хлопьянов теснее прижался к колонне, угадывая направление стрельбы. Работал танковый крупнокалиберный пулемёт, но не с моста, а с набережной, через реку, где удобно под деревьями разместились четыре танка, опробовали свои калибры.

Его зрачок, блуждая по удалённой набережной с редкими полуопавшими липами, приблизился к мосту и уловил на окончании танковой пушки белую плазму выстрела. И пока запоминал эту плазму и вялую, вслед за ней, метлу дыма, его ухо, грудь, тонкие внутренние перепонки содрогнулись от тупого удара. Дом колыхнулся, словно ему ударили под дых, и он со стоном нагнулся. Танковый снаряд ворвался в перекрытия этажом выше. Гул от удара медленно расходился по дому, как круги по воде. Защитники слушали этот удар и волны гула.

Стекло, перерезанное пулемётной очередью, рухнуло, как падает лёд с карниза. Осколки скользко полетели по мраморному полу, и один, остроконечный, как льдина, подлетел под самое кресло Хлопьянова. В освобождённое, без стекла, окно ударил ветер и сочные звуки города: рокоты, бессловесные крики, автоматные очереди, крики ворон.

— От окна подальше!.. Стеклом посечёт!.. — кто-то крикнул за спиной Хлопьянова, и он не успел определить, чей это голос.

Снова выстрелил танк. Глаз продолжал удерживать качнувшуюся пушку, дёрнувшуюся на гусеницах машину, а ухо, сердце, вся ужаснувшаяся плоть содрогались от удара, который взломал бетонную стену, и взрывная волна раскрывалась, как чёрный бутон, наполняя самые дальние углы и отсеки здания бархатным гудящим цветком.

Сверху, вдоль фасада, сыпалось стекло, разбивалось о ступени портала. В проём окна дул свежий ветер с реки, кричало вороньё, улюлюкала и ликовала толпа. Хлопьянов сидел в золочёном кресле, перед танковыми пушками, и в нём не было страха, а раскалённая, похожая на веселье ненависть. Эту ненависть он посылал навстречу наведённым орудиям, ликующим мерзким зевакам и ещё кому-то, кому было угодно завершить его, Хлопьянова, жизнь этим сидением в атласном кресле, под прямой наводкой сбесившихся танков.

— Бей, сука!.. Возьми полградуса ниже!.. — говорил он сквозь оскаленные зубы, выдувая сквозь них вместе с горькой слюной свою ненависть и веселье. — Давай, наводи!

Он был готов вскочить, подбежать к окну, рвануть на груди рубаху. Подставить грудь под удары танков. Глумиться над врагами, побеждая их своим бесстрашием, ненавистью:

— Суки!.. Суки проклятые!..

Танки били по средним этажам. Снаряды ломали стены, крушили перекрытия, наполняли кабинеты и коридоры огнём и дымом. Испепеляли мебель, ковры, документы, портреты на стенах, зазевавшихся клерков, пробегавших по коридорам защитников. Здание качалось и стонало, словно ему ломали ребра, дробили коленные чашечки, отбивали печень и легкие. Дом был подвешен на дыбу, и его истязали и мучили. Вгоняли костыли и железные гвозди. Распарывали живот. В открытых переломах блестели кости, хлестала кровь, и глаза заливали мутные слёзы.

СКВОЗЬ ГУЛЫ ОРУДИЙ, стеклянные осыпи, летящие на асфальт, перепады давления, когда взрывная волна, ослабленная этажами, опадала в вестибюль, раскачивала люстру у потолка, Хлопьянов услышал у себя за спиной автоматные очереди. Из тёмного коридора катились звуки боя, словно плотный пыж, закупоривший коридор, проталкивался тычками и ударами. Протолкнулся, и вместе с треском стрельбы, растрёпанный, взъерошенный, как птица, пропущенная сквозь дымоход, из коридора вынесся парень:

— Прорвались!.. ОМОН!.. Перебили наших!.. Тикаем все!.. — он метался по холлу, волоча за собой автомат, забыв о нём, спасаясь от смертельной опасности, настигавшей его из чёрной дыры коридора. Там, откуда он выскочил, клокотали, приближались, ещё невидимые, плотные силы атаки. Были готовы вырваться из раструба веером пуль, взрывами гранат, серым камуфляжем омоновцев. Истребив защитников холла, штурмующие рассыпятся по этажам, подбираясь к кабинету, где худенький зябкий Хасбулатов ссутулился в простенке, заслоняясь от танковых пушек, и ветер вдувает в разбитые окна белые занавески. — Тикаем!.. Побьют всех! — безумно выкрикивал парень.

Морпех в чёрном, набекрень, берете подставил ему ножку, парень грохнулся всеми костями на мраморный пол и затих.

— Блокировать коридор… Короткими очередями по входу… — будничным голосом командовал Красный генерал, не вставая со своего места, а лишь разворачиваясь лицом в сторону коридора. Этот будничный простуженный голос успокоил Хлопьянова, в котором уже начиналась едкая химия разложения, спутница паники. Словно кто-то хладнокровный, усталый посыпал из совка песком лужицу разгоравшегося огня, и огонь погас. — Оттянуться от коридора… Бить их на выходе…

Они лежали за опрокинутым сейфом, он и Морпех. Выставили из-за стальных углов автоматы. Хлопьянов подошвой чувствовал вытянутую ногу Морпеха. Гильзы от коротких очередей Морпеха светлячками перелетали через голову Хлопьянова. Там, куда уходили очереди, в прямоугольный зев коридора, не было ответной стрельбы, не было атакующих криков. Но Хлопьянов угадывал близкое скопление плотных, готовых к броску энергий. Они проявляли себя едва заметным излучением, которое ядовито и опасно светилось на выходе.

— Закидают гранатами, только красные клочки полетят! — Морпех повернул к Хлопьянову крупное, липкое от пота лицо, на котором топорщились усы и зло, затравлено желтели рысьи глаза. — Мячиков нам накидают!

Эти рысьи глаза страшились узреть, как из чёрной дыры коридора, на разных высотах, вылетают чёрные клубни гранат. Звякают на ступенях, катятся, прыгают, а потом одновременно взрываются, разбрасывая сталь осколков. Красные взрывы, стонущие, отползающие в разные стороны люди, а из коридора — хриплый рык атакующих, серые униформы, грохочущие у животов автоматы.

— Скажи мужикам, чтоб не стреляли! — Хлопьянов подчинял свои движения не мыслям, а горячим мышцам, дрожащим зрачкам, накалённому дыханию, отдавая себя этой самодвижущей, чуткой, выше всех разумений энергии, толкнувшей его вперёд. Качая плечами, перенося из стороны в сторону центр тяжести своего послушного тела, он метнулся к коридору, достиг устья и прижался к стене, прячась за угол.

Снова ударил танк. Вогнал снаряд в сердцевину Дома. Гул разрыва покатился, как оползень, сволакивающий булыжники, накрывая звуком затаившихся депутатов, кричащего в трубку Руцкого, раненых в липких от крови носилках, отца Владимира, упавшего перед образом. И пока эхо омывало их всех, собравшихся в злосчастном убиваемом Доме, Хлопьянов вынырнул из-под этого оползня, сунул в коридор ствол автомата и на вытянутых руках, продолжая скрывать за уступом грудь, выпустил в коридор долгую, слепую, грохочущую очередь. Вырезал по кругам, по спирали весь длинный желоб, от потолка до пола, вдоль стен, вырывая из паркета длинные щепы, прочерчивая в штукатурке длинные надрезы, протачивая коридор сплошной свистящей фрезой. Он крутил стволом, словно мешал квашню. Замешивал её на пулях, дыме, слепящих вспышках, стонах и криках раздираемых тел, на перебитых костях и жирной, хлещущей крови. Он расстрелял почти весь комплект и в момент тишины выдернул автомат из дымной проруби. Привычно, по-афгански, перевернул спаренные, перемотанные изолентой рожки, передёрнул затвор. Крутанул головой, приглашая за собой Морпеха. Сунул автомат в чёрный проём коридора и кинулся в конус света, расходящийся от его стреляющего, раскалённого ствола.

Крича и стреляя, он добежал до поворота, где коридор изгибался, отклонялся в сторону. В своём беге он наступил на невидимое мягкое тело, издававшее стоны и всхлипы. Когда иссяк второй магазин и автомат перестал сотрясаться, он повернул назад. Снова наступил в живую мякоть, заметил у глаз светлые дырочки, пробитые пулями в дверях кабинета.

Вернулся в холл и стал у стены, опустив автомат, задыхаясь, чувствуя, как катится по груди под одеждой липкий пот.

— Завалите ход! — командовал Красный генерал, сидя всё в той же нахохленной позе, словно бег по коридору Хлопьянова и его возвращение обратно продолжались секунду. — Навалите сейфы, и пару стволов — в бойницу!

Приднестровцы двигали сейф. Он оставлял на мраморе белую сплошную царапину. Хлопьянов успокаивался, чувствовал, как радостно и сильно бежит в нём кровь. Выигранный в одиночку скоротечный бой вернул ему осмысленность бытия. Бытие отводило ему не роль беспомощного, убиваемого бессловесного скота, а свободного человека, достигающего праведных целей.

— Мужики, не стреляйте! — раздалось из дальнего конца коридора. — Дайте раненых подобрать!..

Этот сипатый сдавленный голос поразил Хлопьянова. Там, на другом конце коридора, стоит такой же, как и он, русский офицер, усталый, потный, со спаренным, перемотанным изолентой рожком. Быть может, встречались в каком-нибудь транспорте, летящем из Кандагара в Кабул. В ледяном ночном небе маленькая голубая луна. Рядом, на мешке с парашютом, спит, запрокинув лицо, пехотный офицер. И теперь Хлопьянов в центре Москвы перестрелял его группу захвата, и тот, опустив автомат, сипло выкликивает:

— Мужики, не стреляйте!.. Дайте вытащить раненых!.. Пять минут!..

Ему не ответили. Все, кто был в холле, перестали двигать сейфы, передвигаться. Красный генерал вытянул запястье с часами. Хлопьянов из-за выступа слышал, как коридор наполнился движениями, стонами. Кого-то поднимали, несли. Казалось, наружу из тьмы долетал ослабленный лучик фонарика.

Прошло пять минут. Звуков больше не было слышно. Морпех сложил ладонь черпачком, выставил в коридор и крикнул:

— У вас готово?

Вместо ответа коротко, зло простучала очередь. Пули из коридора вылетели в холл, разбили и осыпали хрустальную сосульку на люстре...

КТО-ТО ТРОНУЛ ЕГО ЗА ПЛЕЧО. Морпех стоял за спинкой его золочёного кресла. Его кисть была перемотана платком, и на нем расплывалась красная клякса.

— Генерал зовёт!.. Дурдом какой-то!..

Красный генерал примостился на поваленной тумбочке, отставив ногу, в старинной картинной позе полководца, сидящего на барабане. Исчезла его сердитая нахохленность, сходство с продрогшей усталой птицей, загнанной и заклёванной, опустившейся с неба на землю. Он вскинул на Хлопьянова свои круглые блестящие глаза. Ноздри горбатого носа зло дышали. Колючие усы шевелились. Обгорелая, покрытая рубцами рука была сжата в кулак. Помолодел, похудел, продолжал походить на птицу, но ту, что прижала к телу свои крепкие глазированные перья, вцепилась в ветку отточенными когтями, отвела назад упругие заострённые крылья и ждала толчка, удара сердца, чтобы кинуться в свистящий ветер, помчаться над зелёным лесом, устремив на добычу отточенный клюв, — красноватый вихрь над синей кромкой дубравы.

— Полковник, мы сидим здесь, как тараканы в щелях! Они сделают ещё пяток выстрелов, эта хренотень упадет нам на головы, и мы превратимся в груду мусора и дерьма! Не станем ждать штурма, потому что его не будет! Мы сами их атакуем! Внизу, в подвале, под замком, находится арсенал! Гранатомёты, полтысячи стволов автоматов, пулемёты, гранаты! Руцкой и Хасбулатов побоялись раздать народу оружие, не желали, видите ли, спровоцировать бойню! Но бойня уже идёт! Надо вскрыть арсенал, раздать безоружным защитникам стволы и пойти в атаку! Мы сожжём из гранатометов танки! Захватим транспортёры и развернём их против ОМОНа! Они хотят завалить нас кирпичом и бетоном, а мы сами их атакуем! Вы меня поняли, полковник?

Хлопьянов понял. Это понимание было, как вздох после удушья. Рядом, внизу, в арсенале, на стеллажах лежали длинные ящики с новенькими, смазанными автоматами, с пулемётами, переложенными сальной вощанкой, трубы гранатомётов, пеналы и капсулы "шмелей" и "мух", горы "цинков" с заводской маркировкой. Всё это богатство будет немедленно роздано защитникам Дома. Растерянные, безоружные люди, гуртами забившие вестибюли и лестницы, — офицеры и солдаты Добровольческого полка, казачья сотня, баррикадники, депутаты — все получат оружие. Тысяча вооружённых, воскресших, сбросивших уныние людей займут боевые позиции. По приказу генерала гранатомётчики выйдут на рубеж стрельбы к пустым, наполненным ветром окнам. Десятки гранат полетят на мост, через реку, к набережной. Танки, пятнистые стальные лягушки, будут взрываться бенгальскими вспышками, сыпать ослепительными синими искрами. Внутри, под броней, истреблённые взрывом, будут корчиться наймиты-танкисты, испекаться в огне. Из Дома, из разбитых подъездов и окон, с криком "ура", цепями пробегая вдоль пандусов к набережной, к парку, к Горбатому мостику, рванётся тысяча атакующих. Обращая в бегство ОМОН, солдат в бронежилетах и касках, растерянные горстки десантников, атака прорвёт осаду и под красными и имперскими флагами выльется на улицы города. Увлекая городские толпы, домчится до стен Кремля, до площади с Василием Блаженным. От его куполов и шатров с радостным кликом и рёвом ринется в Спасские ворота, под золотой циферблат, в Кремлёвский дворец, в кабинеты, в покои, где потерянные, лишённые воли, сидят ненавистные, ожидающие возмездия преступники. Хлопьянов пережил всё это, как бездонный вздох избавления и свободы.

— Пойдите к Хасбулатову! — генерал что-то писал на клочке бумаги, положив блокнот на колено. — Потребуйте от моего имени открыть арсенал!.. На словах добавьте: в случае отказа возьму арсенал силой!.. — Он вырвал листок, передал Хлопьянову. — В руки Хасбулатову!.. Выполняйте!..

Крутанул в орбитах свои ястребиные глаза, словно толкнул ими Хлопьянова. Тот почувствовал толчок, взял бумагу, двинулся вверх по лестнице выполнять приказ генерала.

КАБИНЕТ ХАСБУЛАТОВА размещался теперь на втором этаже. Прежний, роскошный, где однажды побывал Хлопьянов, с сияющей просторной приёмной, в которой мягко звонили телефоны, ожидали важные посетители, двигались вкрадчивые помощники, — прежний кабинет был сожжён снарядом. Взрыв превратил в труху и пепел драгоценную мебель, шёлковую обивку стен, малахит и яшму камина, экзотические растения в вазах, круглый инкрустированный столик, за которым сидел Хасбулатов, орудовал серебряной лопаточкой, набивая смуглую трубку душистым табаком. Теперь там зияла обугленная яма. В пролом стены влетала ядовитая гарь, сыпались искры, рикошетили пули снайперов.

Хлопьянов разыскал новую резиденцию Хасбулатова. Доложил охране цель посещения. Оставил у дверей автомат и вошёл в кабинет.

Он увидел Хасбулатова, белое мучнистое пятно на стене, похожее на потёк. Маленький, щуплый, одетый в скомканный плащ грязно-белого цвета, Хасбулатов сидел на стуле, прижавшись к простенку между двух окон с опущенными шторами. Одно окно было наполовину разбито. Ветер высасывал из кабинета шёлковую штору, утягивал её пузырем наружу, где было солнечно, холодно, звенели и пересекались очереди, гулко ухали пушки.

Хасбулатов был болезненно-серый, усохший, с чёрными страдальческими глазами, хрупкими руками, сложенными на коленях. Он повернулся к Хлопьянову, смотрел на него немигающим чёрным, блестящим взглядом. Узнал его. Губы его беззвучно зашевелились, словно он нащупывал ими исчезнувшее позабытое слово. Отыскал среди бесформенной груды потерявших значение слов. Спросил:

— Уже штурмуют?…

В этом вопросе была обречённость, готовность к любому исходу, самому безнадёжному и гнетущему. Сломленность человека, отдавшегося на волю и произвол этого солнечного громогласного дня. Казалось, снаружи в кабинет тянется сильная грубая рука, утаскивает шёлковую занавеску, дотягивается до Хасбулатова. Схватит крепко за ворот замусоленного плаща, выдернет из кабинета сквозь окно прямо на улицу, где бодро стрекочут пулемёты, перебегают молодые потные солдаты, проносится зелёный транспортёр.

— Конец? — спросил Хасбулатов.

— Штурма нет. Одиночную атаку ОМОНа отбили. Идёт огневая подготовка. Стреляют танки и снайперы. Мы держимся! — Хлопьянову был неприятен вид сломленного, неопрятно одетого человека, ещё недавно властного, повелевающего. Неприятна своя собственная, почти бравурная интонация, призванная приободрить подавленного человека. Но он не изменил этой бодрой интонации и повторил:

— Все посты держатся!

— Я проходил по коридорам!.. Столько раненых!.. Женщины, старики!.. Безоружные!.. Это ужасно!.. — Хасбулатов прижался к стене, словно хотел закрепиться на ней, прилипнуть к её шершавой поверхности. А его высасывало, вытягивало, как из самолёта, потерявшего герметизацию, вслед за шёлковой белой занавеской. Казалось, ещё немного — и сквозняк оторвёт его от стены, кинет в пустое, с разбитым стеклом, окно, и он полетит наружу, уменьшаясь, вяло махая руками, как скомканная серая бумага.

— Мы не рассчитали всего!.. Не могли предположить, что имеем дело с преступниками и кровавыми палачами!.. Мы рассчитывали на торжество Конституции, на государственную этику, на совесть офицеров и генералов!.. Наконец, мы рассчитывали на международное право, на демократический мир!.. Всё это было ложью!.. Всё это — фетиши, которые исчезли при первых выстрелах!.. Мы страшно ошиблись!..

Хасбулатов с его чёрными блестящими глазами затравленного зверька, с фиолетовыми подглазьями и трагическим голосом, был неприятен Хлопьянову. Лидеры и вожди, которых он жадно искал, кому хотел вручить свои умения и силы, саму свою жизнь, не оправдали его ожиданий. Не выдерживали страшного давления жизни, исчезали и прятались, выходили из боя. Люди, внимавшие их речам и пророчествам, спешившие встать под их знамёна, явившиеся сюда, под выстрелы танков, оказались кинутыми. Не услышали от вождей вдохновляющих слов, разумных команд, лежали убитыми вокруг обречённого Дома, стонали ранеными на липком брезенте носилок, забились испуганно под лестницы. Малые горстки защитников с игрушечными автоматами разрозненно залегли на этажах и в подъездах. Без единого управления и плана вели оборону, отвечая одиночными выстрелами на удары танковых пушек.

Словно угадав эти мысли, прочитав их на лице Хлопьянова своими чёрными блестящими глазами, Хасбулатов сказал:

— Мы виноваты!.. Страшно перед людьми виноваты!.. Привели их под пули!.. Обещали свободу, а дали смерть!.. Мы сами заслуживаем смерти!.. Мы должны достойно умереть!

Не для этого явился сюда Хлопьянов. Не за тем, чтобы слушать раскаяния. Он явился сюда за оружием. Где-то рядом, под замком и охраной, был арсенал. Полтысячи автоматных стволов, способных превратить безоружный испуганный люд в бесстрашных солдат. Сотня гранатомётов, способных превратить безнаказанно стреляющие танки и транспортёры в костры, в раскалённые докрасна коробки с кучками обгорелых костей.

Хлопьянов протянул Хасбулатову записку Красного генерала:

— Я пришёл за оружием! Мы готовим контратаку! Откройте мне арсенал!

Хасбулатов несколько раз прочитал записку болезненными глазами, шевеля коричневыми губами. Сказал:

— Арсенала нет… Его увезли ещё летом… Мне предложили очистить Дом Советов от оружия во избежание захвата его террористами… Показали секретные разведданные о возможном захвате… И я согласился… Оружие вывезли на грузовиках ещё летом…

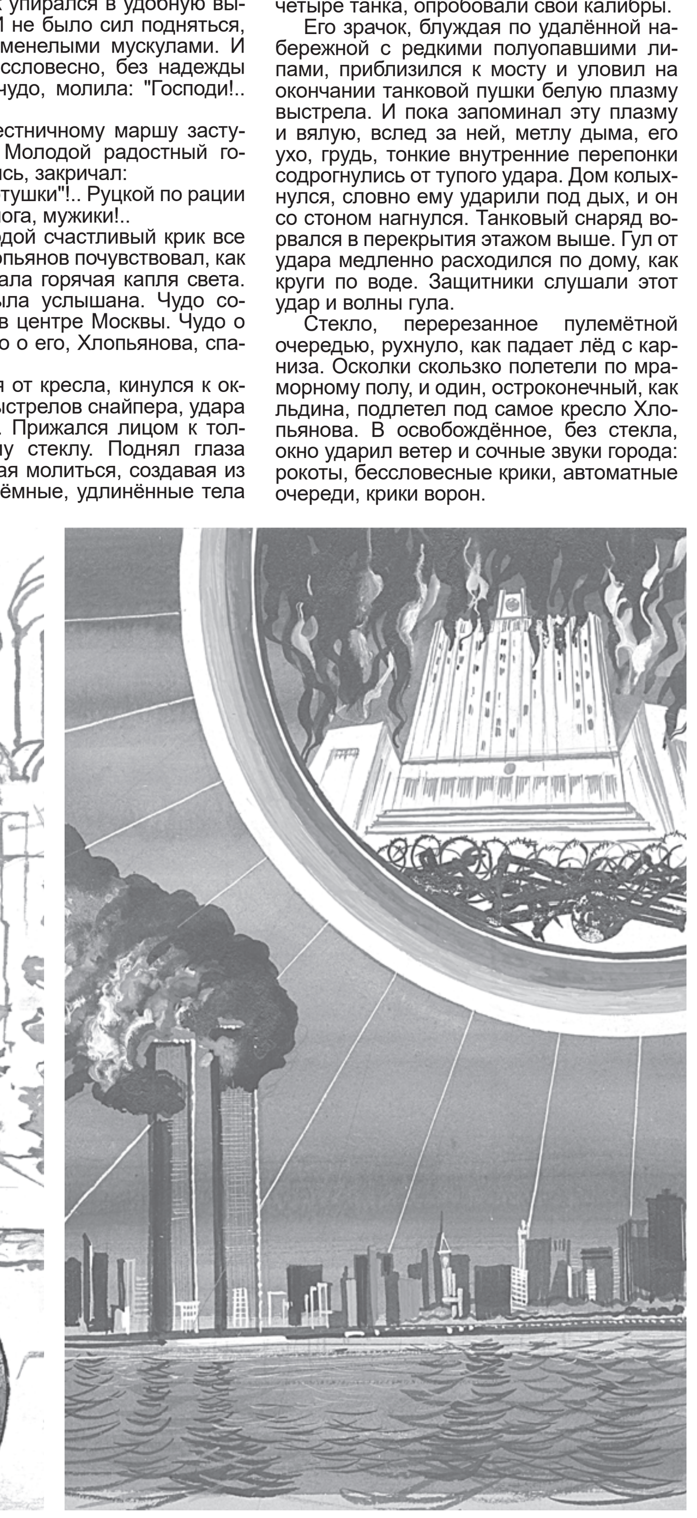
— Неправда! — крикнул Хлопьянов. — Оружие есть! Полтысячи автоматов и гранатомёты! Мы раздадим оружие, и через час народ возьмёт Кремль! Если вы не отдадите оружие, мы его возьмём силой!

— Ступайте и посмотрите… Оружия нет… Я отдал его ещё летом… — вяло и тускло сказал Хасбулатов. Подошёл к дверям и кликнул охранника: — Ступай в подвал, проводи человека… Покажи арсенал…

Хлопьянов шёл вслед за охранником, чьё красивое, диковатое, с чёрными, опущенными вниз усами лицо выражало тайную страсть. Готовность в последний раз перед смертью с визгом и гиком, обнажив белоснежные зубы, отбиваться, стрелять и резать до последнего взмаха и пули.

Они зашли в какое-то сумрачное помещение, прихватив дежурного в милицейской форме. Светили фонариками, двигались по холодным сырым переходам. Лязгали ключами в дверных замках. Остановились перед железной, с чёрной маркировкой, дверью. Круг от фонаря осветил сложный, с несколькими скважинами, замок, связку ключей в кулаке милиционера. Тот долго возился, хрустел и звякал металлом. Потянул дверь на себя. Из чёрной щели пахнуло сквозняком, знакомым запахом ружейной смазки. У Хлопьянова сладко забилось сердце. Он шагнул в комнату вслед за млечным пучком света. Бетонированная, с шершавыми стенами комната была уставлена стеллажами и полками. И эти полки и стеллажи были пусты. Несколько сломанных ящиков с мятой промасленной бумагой валялось на полу. Тут же лежал вскрытый, как консервная банка, цинк. Одинокий, гладкий, как желудь, с зелёной гильзой, красной ядреной пулей, блестел автоматный патрон.

Хлопьянов стоял среди опустошённого арсенала, сам пустой и погасший, с медным, внезапно появившимся вкусом во рту...



Владимир МАКАНИН

Из романа «Испуг» (2006)

ШАРАХ-ШАРАХ-ША-РА-РАХ! — раздалось над головой. Третий удар из танкового орудия... Уже, конечно, не такой внезапный. Зато сами стены, казалось, заныли... Вибрировали от разрывов. Весь дом гудел.

Но более всего сотрясался пол. Подвижный пол — это нечто... На этот раз я не подпрыгнул, а только прибавил машинально шагу — шёл и шёл по коридору. (Искал Дашу.) Прогремели четвёртый и сразу пятый ша-ра-рахи. Но ничего не случилось. Просто я каждый раз вжимал голову в плечи. И косился на отскакивавшие куски штукатурки — осколки стен. Летящие вразброс!

Один удар пришёлся рядом со мной. Звук сам по себе был слаб. (Или я уже приоглох.) И вот вслед за звуком я увидел, как на правой от меня стене расцвёл цветок. Цветок всё голубел и голубел. "Надо же, какой", — подумал я.

— Краси-иво!..

Страшно или не страшно, но я уже понимал, что этот цветок — пробоина (и довольно высокая) в стене. А сквозь пробоину — небо... Небо голубело в далёком далеке. Уже к горизонту... Уставившись и на миг замерев, я увидел это наше небо мелким синим пятном.

— Краси-иво! — ещё раз протянул я. (От страха хотелось что-то говорить.)

Какой этаж, я не знал, — а нужен был седьмой-восьмой... Нет, девятый. Но сосредоточиться было трудно. И еще под два или три ша-ра-раха я бестолково бегал туда-сюда. (Я мог бы сориентироваться по кабинетам... Вспомнить... Но мозги не работали. Какая-то половинчатая отключка.) Наконец выбежал к лестнице... Там кой-где этажные номера... Там проще.

И сразу на лестнице, на ступеньках — раненый. Рядом валялся его автомат. Чуть ниже громоздился перегораживающий лестницу дубовый стол. (Явно кабинетный... Лежал на боку.) И стояли два знакомых… тоже с автоматами, онемевшие и с открытыми ртами... Смотрели, как упал и корчится их товарищ.

Это были те самые постовые. Они не сбежали в цоколь. Вспомнили долг. Они лишь спустились ниже — к баррикадно (набок) заваленному столу.

А раненый был тот самый, с хищным лицом. На его бедре проступило и расплывалось этакое пятнище крови, прямо сквозь светлые брюки. Похоже, ему попало чем-то мелким... Крошкой снаряда... Или стены... Лицо раненого, совсем белое, уже не казалось мне хищным. Зато хищным казалось пятно. На его брючине... Кровавое пятно проступало зловещей тёмной харей.

Двое наконец кинулись к сотоварищу, чтобы помочь.

Отложив автоматы, они суетились, мешая друг другу. Хотели спустить раненому штаны... Но тот вопил: "Нет! Нет!" — и так решительно взмахивал рукой: не подходи!.. Рукой он и врезал одному из помогавших ему. Удар был что надо. Помогавший откинулся назад, ещё и грохнув головой о дубовый стол.

И тут опять ша-ра-рахнуло — и ступеньки под нами подпрыгнули.

Сотрясением от разорвавшегося снаряда... Из лежащего на боку стола вдруг с грохотом вырвалось его содержимое. Ящики выскочили играючи. (Вдоль по своим хитрым внутренним рельсикам.) Ящики как бы выстрелили и легко помчались по ступенькам лестницы вниз. Но их тоже опередили. Обгоняя все и вся, вниз по ступенькам хлынула бумага... Стопы кабинетных бумаг... Бумаги, в свою очередь, с ещё большей скоростью выпрыгнули из движущихся ящиков. Бумаги убегали вниз белым ручьём. Они достигли меня. И всё ускорялись... Отделяясь и скользя одна по одной.

Я стоял на полпролёта ниже, но действо бумаг... Оно проскочило уже и меня. Ручей мчал! Забыв ша-ра-ра-хи и лежащего раненого, забыв Дашу, забыв всё на свете, я присел над бегущей "водой"... Я полоскал в скользящей бумаге руки. В этом было что-то завораживающее! Сначала я, кажется, хотел собрать их. Инстинктивно. Собрать хоть немного — хотел кому-то помочь!

А те, двое, наконец подхватили своего сотоварища под руки... Понесли... Приподнимая над ступеньками.

Меня, присевшего и полощущего руки в бумажном ручье, они не могли не заметить. Шли мимо. Шли рядом. "Контужен?!" — крикнул-спросил меня один из них. Но тут на них завопил их раненый... Было не до выяснений. И к тому же опять ша-ра-рахнуло.

Я держал руки в проточном ручье бумаг. Иногда я хватал лист, какую-то страничку, бегло зачем-то смотрел и вновь пускал вниз — по течению.

Один из них кричал другому:

— Нечего на него глазеть!.. Давай! Понесли, понесли!.. Наш сейчас опять заорёт!

Мысль их была проста. Уйти поскорее.

Даша... Уцокавшая на каблучках куда-то вверх. Присев на ступеньке, я думал о ней. (Руками я всё ещё перебирал белые листы бумаги. Белые с одной стороны.) Я не мог бросить Дашу, как не бросают раненого. Такая правильная пришла мысль. Как не бросили те двое своего, вопящего...

Один, на опустевшей лестнице, когда вокруг беспрерывно ша-ра-рахало, я сидел весь притихший и сам себе мечтательно улыбался.

Я отыскал седьмой (или девятый?)... Тот самый этаж. Ту далёкую в коридоре комнату.

Я припомнил заново: "Мелькнула на девятом!"... Кто-то мне это говорил, кричал! Весёлый, я уже нацеленно вёл счет: девять — это семь плюс два... На седьмом я только что пинал рулоны.

На лестнице пусто, только стол на боку — знакомый. Ручей, что с бумагами, вернее, из бумаг, уже не тёк. Ручей застыл. Здесь был опустевший пост... Я выставил голову в разбитое окно. Внизу открылась настоящая бездна. Я увидел там защитников — они были как муравьишки с автоматами.

Увидел импровизированные баррикады — у входов и въездов. Вывороченная брусчатка — курганами. Крест-накрест прутья арматуры... Сверху было не разобрать, что там за кубы и кубики. Неужели тоже кабинетные столы?.. Различились две легковые машины. (Лежали на боку... Бензин слили?..) И стоял грузовик.

Выскакивая из-за этих кубиков, муравьишки с автоматами, вероятно по приказу, стали отбегать к нашему Дому и скрываться в нём.

— Ого-го! Улю-лю! — кричал я им сверху. Пропарламентские упрямцы!..

Я свистнул в два пальца. Мне было весело.

А муравьишки, надо полагать, бежали, чтобы засесть в первых этажах. (Как известно, к этому времени невооружённые защитники: клерки, обслуга, женщины — все скопились в обширном цокольном этаже Дома.) Цоколь был хорошо защищен самим фундаментом. Но и канонада усилилась. От отдельных пристрельных попаданий башенные орудия танков перешли к равномерному и мощному обстрелу Дома. Стало ясно — дело нешуточное.

Стало ясно, но, конечно, не мне. Для меня просто продолжало грохотать. Где-то там. Где-то здесь...

Но было же в моём минутном веселье и простое человечье торжество! Огромный же дом, домище, кругом величественные кабинеты. Отделка стен, лоск, сверкание ламп и люстр (хотя и обесточенных). А властная игра дверей! А отблески отлично прописанных фамилий на табличках — целый путеводитель по высшему чиновничеству! ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ... ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА... РЕФЕРЕНТ... Фамилии частично выдернуты. Прибраны. Фамилий нет. Испарились на тревожные дни.

Так что один-единственный МИНИСТР... И один-единственный ЗАМ, и один РЕФЕРЕНТ... И вообще один-единственный живой ЧЕЛОВЕК — я! — вышагивал по этому величественному кишкообразному лабиринту. Я внутри. Я здесь. (В кишках Власти.) И какой власти — ВСЕ-РОС-СИЙ-СКОЙ! Правда, моему торжеству (так сказать, личному и ни с кем не делимому всероссийскому триумфу) мешало то, что я нет-нет и вжимал голову в плечи. Скотство! Проклятый нутряной страх не давал словить минутную радость.

И ещё мерзкий скрип битого оконного стекла под ногами... Под подошвами, когда идёшь коридором вдоль кабинетов. На девятом было много, очень много стекла.

Именно здесь, на этаже (важно!), я вскрикивал на каждый мощный ша-рарах. Их было три таких. Три подряд. А вскрикивал я, потому что не ожидал. Потому что ша-ра-рахало по этому этажу и как раз по моему ходу — прямо передо мной, как по особой просьбе. Я вскрикивал и приседал. Вот это лупят! Пробоины на стенах! Опять же, как синие цветы... Пробоины, как цветы, ускоренно отснятые на кинопленку. Возникали — и сразу на глазах распускались. И каждый раскрывавшийся бутон тотчас показывал мне (едва я с ним поравняюсь) кусочек синевшего неба. Уже тёмно-синего.

— Во дают! Во!.. Цветоводы! — говорил я. Страх всё время понуждал что-то болтать.

Сергей ШАРГУНОВ

Из романа «1993» (2013)

ВОЗЛЕ ПОДЪЕЗДА словно объявили антракт во мгле, оживляемой фотобликами и слабо подкрашенной фонарями. Макашов с тремя автоматчиками куда-то ушёл.

Виктор прижимался к Олесе теснее и то и дело, закрыв глаза, погружался в вязкую полудрёму — сказывались бессонница прошлой ночи и сегодняшний день, не сравнимый ни с какими другими днями. Как много времени прошло с той минуты, когда ему предложили мясо в поезде! Семь часов? Двадцать лет? Сто лет? Вот что значит — время не впустую. Здесь, должно быть, есть какой-то секрет, тайна бессмертия.

Веки его сами собой распахнулись от огненной вспышки.

Загрохотало — под ногами гулко подпрыгнула земля.

Схватив Олесю в охапку, он инстинктивно упал вместе с ней. В ту же секунду на них обрушился шквальный огонь.

Вжавшись лбом в бетон клумбы и давя Олесин мякотный затылок, Виктор слышал: толпа с воплем бежала прочь. Стрельба не затихала ни на мгновение: бил пулемёт — та-та-та, строчили автоматы — тыр-тыр-тыр. Робко приподняв голову, он увидел во множестве летящие из здания сияющие линии трассирующих пуль.

— Ты как?

— Нормально, — шепнула Олеся.

За широкой клумбой слева от них притаился мужик, молчавший и так же, как Виктор, загнанно сопевший, потом к ним переполз ещё один, о чём-то по-своему хныкая. "Иностранец", — определил сосед.

Через несколько минут стрельба немного ослабела.

Виктор опять приподнял голову: в жидких перламутровых лучах фонарей под секущими перекрёстными пулями, бросавшими возле подъезда мигающий отсвет зарниц, застыли тела — некоторые вповалку. Всё было густо залито кровью. Крупно и неестественно, как-то очень значительно, выглядели мёртвые головы. Он узнал лежавшего на боку студента-ботана, а совсем близко от клумбы увидел Наташу и Алёшу. Да, это были они: вместе лежали навзничь, Наташа — раскинув руки. Ближе к дверям валялись гранатомёт и несколько видеокамер. Кто-то в бушлате привстал, кашляя, и тотчас, как по наитию, глянув выше, Виктор увидел в оконном проёме чёрную фигуру с вытянутой рукой — сквозь грохот стрельбы прорвался характерный сухой выстрел пистолета. Человек в бушлате дёрнулся и замер. Это получилось как в кино, легко и просто.

Стрельба прекратилась, и сразу отовсюду вокруг зазвучали стоны — разнообразные, как храпы: протяжные, сильные, скупые, тихие…

— Май френд Отто! О, май гад! — зачастил крайний за их клумбой. Вдруг, выкинувшись из-за укрытия, он побежал к груде тел, размахивая белым носовым платком: — Пресс! Пресс!

Благодарно махнув платком тёмным окнам, нагнулся, обнаружил нужное тело, приподнял, закинул на себя и потащил. Раненый начал постанывать — это был седой фотограф, у которого Виктор узнавал время.

С другого угла к подъезду метнулись двое в белых халатах, похожие на привидения:

— Не стреляй! Скорая!

Виктор, встав на колени, выставил голову полностью, чувствуя её большим всклокоченным цветком на потном стебле шеи. Он увидел: тела зашевелились, живые ворочались под мёртвыми, расползались от здания.

— Бежим? — задорно спросила Олеся.

— Погоди, — он высунул руки и стал приподниматься.

И тут ударил пулемёт.

Санитары забились в волнах свинца, одежда, разлетаясь, заклубилась вокруг них, как снежинки. Возможно, эта метель только пригрезилась ему, он не видел, как они упали, не видел и судьбы иностранцев; он сам упал, забыв обо всём, вжавшись носом в асфальт и не смея поднять головы, а следом за пулемётом загрохотали все стволы.

Потом стрельба поутихла, из открытого окна стали слышны голоса.

Один был раздражённо-запаренный:

— Вов, того сними. Дальнего, с флагом.

Мгновение — и весёлый ответ:

— Добегался, козёл.

— Смотри, очухались, тараканы… Вон слева… смотри… полезли…

— Куда лезут? Фанаты...

— Димон, в плаще, чур, мой.

Стрельба усилилась, воскрес пулемет, а очереди стали гуще и злее, как будто подтащили патроны.

— Слышь, — сосед тряс Виктора за плечо, — давай за грузовик. Там надёжнее. И свою прихватывай. Скажи своей…

Военный грузовик, ещё недавно таранивший стеклянные двери, стоял метрах в пяти от них, и за ним было какое-то копошение.

— Подстрелят, — сказал Виктор безнадёжно.

— Не подстрелят. Жди: пулемёт заткнётся, значит, лента кончилась; пока он менять её будет, мы и проскочим.

— Так не один же пулемёт стреляет.

Сосед повернул к нему смутное заросшее лицо и обдал горячим дыханием:

— Пулемёт — всего хуже. Они не ждут, что мы побежим. Не целятся… Они дальше пуляют, по улице. А нам всего надо пять сек. Ты весь не вставай, согнись. Или катись.

— Слышала? — Виктор повернулся к Олесе.

— Слышала. Бежим?

— Погоди, ты что!

Потом пулемёт взял паузу, и все трое тенями перекинулись за грузовик — их встретил мат, потому что было дьявольски тесно и они по очереди налетели на седого фотографа, который был без сознания; его спасителя сразила пулемётная очередь. Здесь сидели: пышноусый северный тип с автоматом между ног, щекастый мальчонка в омоновской каске, куривший в кулак, женщина в пуховом платке, повторявшая какие-то заклинания, мужчина с дымной шевелюрой и диктофоном. И ещё, мешая, торчали тяжёлые ботинки двух мертвецов, засунутых под днище.

— Пулемёт замолчит, а мы дальше побежим? — спросил Виктор бородатого.

— Слышь, сиди! Увидят — сразу положат.

— Вить, — вдруг как-то по-домашнему позвала Олеся. — Меня торкнуло вроде.

— А? — испугался он. — Где?

— Ерунда. Не болит, а ноет. Я бежала, и меня в плечо, как молотом. Меня отпустило уже. Боли нет, — она словно уговаривала саму себя, что всё нормально, — может, и раны нет.

— Где? — Виктор ощупывал её куртку — цела, сухая, стянул непослушными руками, и руки задрожали так, что не смог ничего делать: ворот белой блузки был мокрым от крови.

— Слышь, я в этом деле малость понимаю. — Мужик, посоветовавший им грузовик, строго отстранил Виктора, наклонился, с силой рванул ворот по самую грудь. — Да-а…

— Ну что там? — спросила Олеся, слегка капризничая. — Блин, холодно.

Мужик жевал в бороде губами, испытующе смотрел на Виктора:

— Почти в шею. Навылет. Ничего, жить будет.

Теперь он с треском рванул свою рубаху, чёрную, и заправски завязал Олесе предплечье, протянув у неё подмышкой длинный лоскут.

— Ты как? — Виктор приобнял её и, не удержавшись, чмокнул в щёку.

— Немного это… всё плывёт… — сказала она с неловким смехом.

— Скорая есть? — он обернулся и удивился.

Он ожидал увидеть пустую улицу, но люди оставались, их, пожалуй, были сотни: они стояли кучками, подальше, кто-то лежал, кого-то несли, кто-то бежал, пригнувшись; больше всего народу было на той стороне, у другого подъезда. Там и тут сверкали слепые пули, будто высекая искры. Невдалеке пылал автобус, оранжевый огонь вырывался из окон и лизал небо. "А если грузовик загорится?" — подумал Виктор, и, как назло, цокающий звук раздался слева и справа — это стали стрелять вблизи, похоже, полируя местность у подъезда; кабина железно загремела.

— Повторяй за мной, — Виктор взял Олесино запястье, ловя нехороший "нитяной" пульс. — Один, два, три, четыре, пять, — где-то он слышал, что от потери сознания может спасти счёт. — Повторяй! Так надо, повторяй! Ты слышишь меня?

Она качнулась, улеглась затылком ему на колени:

— Два, четыре, четыре, восемь, два, два, пять.

— Тебе плохо? — он легонько встряхнул её голову.

— Это мой телефон, — судя по голосу, она бодрилась.

— Точно! — обрадовался Виктор. — Будем повторять твой телефон. Назови ещё раз! Олеся! Ты здесь?

Они называли и называли цифры, он быстро заучил её номер и, замечая, что она "плывет" всё глубже, встряхивал её голову, даже разок хлопнул по щеке. Он предложил называть эти же цифры наоборот, с конца в начало, но она не справлялась.

— Анекдот вспомнил: чем закончится перестройка? Перестрелкой! — Дымчатый негромко заржал, словно заискивая перед реальностью. — Дорогой, угостишь табачком?

Мальчонка в каске молча протянул пачку с отдельно торчащей сигаретой.

— Это не перестрелка, а расстрел, — тихо сказал усач с автоматом.

— Простите, можно обратиться? — Дымчатый подсел к нему ближе. — Я журналист, лицо нейтральное. Не для записи, для себя. Я одного не могу понять…

Усач не шевельнулся.

— Я одного не могу понять, — продолжил дымчатый как бы виновато, — зачем вы стреляли? Из гранатомёта — зачем? Думали, сойдёт?

Усач заёрзал, точно вопрос задел за живое:

— Мы не стреляли. Это они сверху… гранату… светошумовую…

— Далось вам это Останкино…

— Приказ есть приказ.

— Правильно, что Останкино! — бросил Виктор, отрываясь от Олесиного пульса. — Это для них нервный узел!

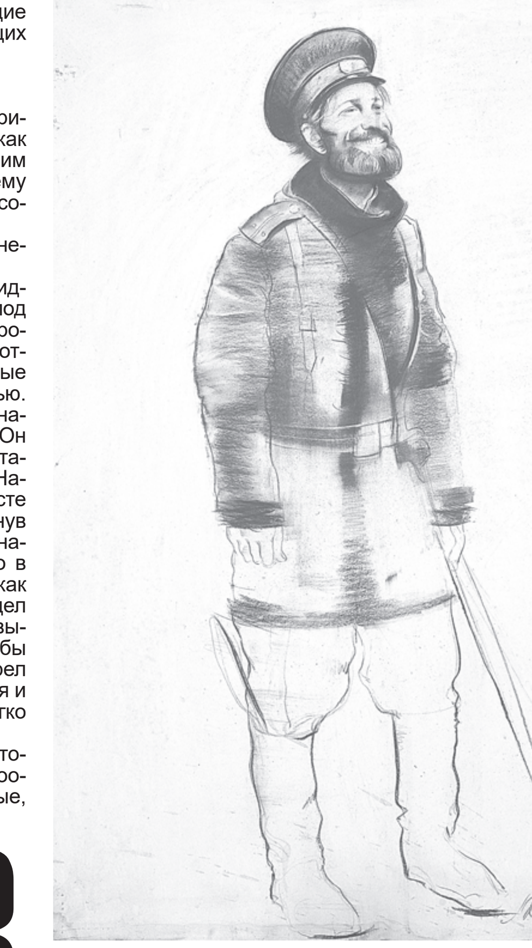
— А для вас это что? Праздник непослушания?

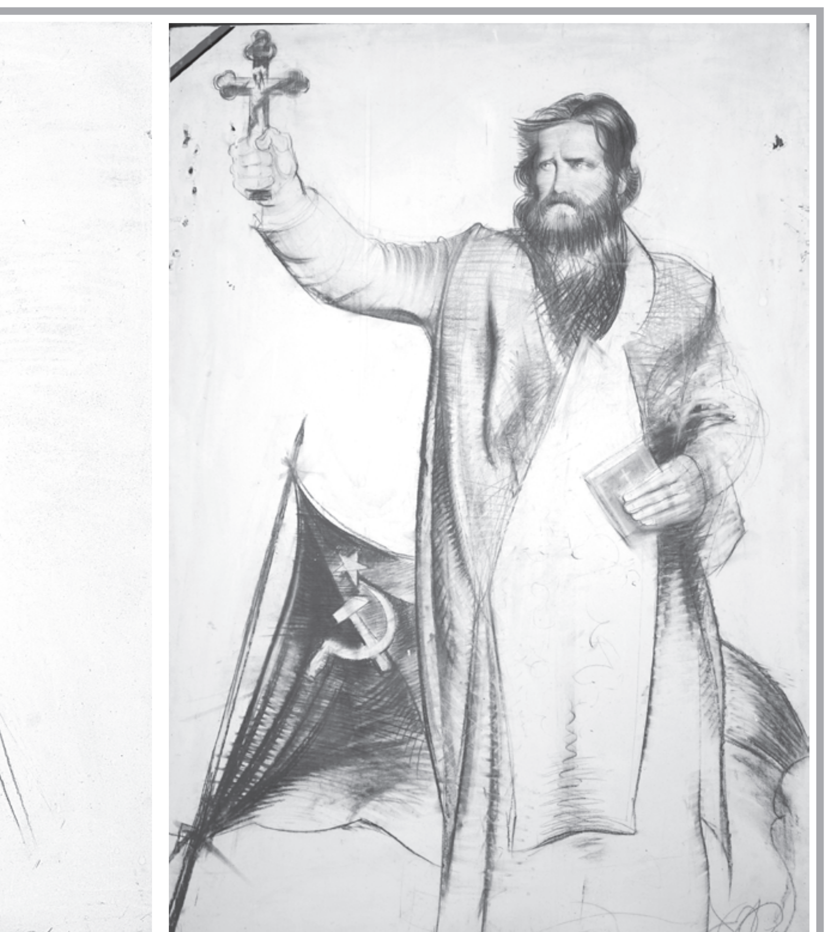
— Почему? — не понял Виктор.

— Потому что потом бывает ата-та. Ремнём по голой заднице. Детский сад на выезде. — Дымчатый говорил увлечённо, очевидно осмелев. — Вы же знаете: у Ельцина — силовики. Министр МВД Ерин. Он блокировал Белый дом, он разгонял ваши митинги. Теперь получите министра обороны Грачёва. Армию получите. Сидели бы, не рыпались, изображали жертву. Авось чего-то и высидели бы.

Окурок резко черканул по асфальту.

— Мне всё равно, — сказал усач спокойно, всё так же тихо, как о давно определённом. — Если сейчас выживу, то вернусь в Дом Советов. Встану на Горбатом мостике. И никто меня оттуда не уберёт — ни танки, ни самолёты...





Рисунки Геннадия ЖИВОТОВА